

Б Е С С О Н Н И Ц А
INSOMNIA

НАТАЛИЯ КОЧЕЛАЕВА



КОГДА ГЛАЗА
ПРИВЫКНУТ К ТЕМНОТЕ

МИСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Insomnia. Бессонница

Наталия Кочелаяева

Когда глаза привыкнут к темноте

«Центрполиграф»

2009

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Кочелаева Н.

Когда глаза привыкнут к темноте / Н. Кочелаева —
«Центрполиграф», 2009 — (Insomnia. Бессонница)

ISBN 978-5-9524-4336-5

Разве мы можем знать или догадываться о том, что каждое явление нашей жизни имеет свое продолжение и оборотную, теневую сторону? Как в книге судеб, все переплелось в роковой узел. Женщины рода Ковалевых, Шапур Бахтияр, вельможа из Ирана, пластический хирург Тимур Вагаев... Кто-то из них уже сыграл свою роль на сцене жизни, а кому-то лишь предстояло стать важным звеном в цепи событий. Однажды в Петербурге, в семье балерины Мариинского театра, стали происходить не совсем обычные события... Ее внучка Анастасия решила изменить внешность в клинике и неожиданно пропала. Для пластического хирурга Тимура дар видеть невидимое становится болью и страданием. Теперь только от него зависит, как им распорядиться...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-9524-4336-5

© Кочелаева Н., 2009
© Центрполиграф, 2009

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Наталия Кочелаева
Когда глаза привыкнут к
темноте. мистический роман

© Кочелаева Н., 2009

© ЗАО «Центрполиграф», 2009

© Художественное оформление серии, ЗАО «Центрполиграф», 2009

* * *

Только тайна заставляет нас жить.
Федерико Гарсиа Лорка

Часть первая

Вязкая сладость, нежная кислинка, медовый аромат, винный запах, оскоми́на. На первом месте любимый, редкий, короток его срок, им никогда не пресытишься – белый налив. Ранние яблоки, еще слаще они от теплых вечеров. Потом идут легкомысленные летние сорта – по-детски щекастый малют и лазурная мелба, пахнущая розой. Но быстротечно лето в России, приходит пора осенних сортов, и среди них главный, конечно, пепин шафранный, в просторечии – шафран. С этим надо осторожно, если его рвут недозрелым – кислятина, если же яблоко перезрело, лучше и вовсе не бери, его словно вату жуешь. Но по-царски награжден будет тот, кто потратит время и разыщет в осеннем рыночном изобилии тот самый, единственный правильный, в меру вызревший шафран. Сожми в кулаке небольшое скуластое яблочко, зажмурься, вдохни пьянящий дух – в нем нежная осенняя грусть и обещание будущей весны, и ты встретишь ее со всеми, а как же, иначе и быть не может... Орловское полосатое, чья мякоть имеет неповторимый сливочный привкус...

Еще есть славянка. Славянка – яблоко крепкое. В этом яблоке – строгая северная печаль, ведь дозревать ему до настоящего вкуса не на родной ветке, а в темном ящике, когда-то эти ящики набивали соломой, а нынче – бумажной трухой. И радостно бывает среди зимы, когда за окном воет ветер, и, кажется, не взойдет больше солнышко, нашарить в шуршащем ворохе желтое, восковое, светящееся изнутри, словно в нем зажгли свечечку, благоухающее яблоко сорта славянка. Последнее, всегда с порчей, с червоточинкой, долежит аж до Нового года, а там придет пора зимних, уложенных на хранение в кладовку. Крупные сахаристые амариллы, соломенного цвета голд, пряный кортланд с фиолетовым румянцем, сочная беркутовка... Но однажды все яблоки выйдут, и придется все ж идти на базар, прицениваться к лакированным чужеземцам. Виновато выпытываешь у торговца название сорта, но он и сам не знает, качает головой, продолжает гортанно напевать что-то, и его полуприкрытые блестящими веками темные, чужие глаза хранят, кажется, какую-то древнюю тайну, куда там ты со своими глупостями, с яблоками!

Она долго не могла принять в душу глянцевого чужаков, но понемногу свыклась с ними, стала узнавать в лицо, заучила наизусть имена – ред делишес похож на наш джонатан, плод похож на сердце, и семечки внутри, в открытых гнездах, тоже будто маленькие сердца. У гольден делишес белоснежная мякоть грубовата, но вкус превосходный. Еще были такие имена: гала, фуджи, рихард, старкинг, джонагольд, пин леди...

И, выбирая яркие лакированные плоды, вежливо отстраняя руку торговца, с подозрительной церемонностью подсовывающую, не иначе, порченный товар, она все вспоминала, что где-то, когда-то, в каком-то саду, яблоки были не больше горошины, а на вкус – как трава. Было ли это в Парголове, где родители снимали на целое лето дачу? Домик в две комнаты. В одной из них жила хозяйка, серолицая женщина, платок повязан домиком, очи долу, в кармане платья слипшиеся в разноцветный ком леденцы-монпансье. Про нее говорили – бывшая монашка, и это необычайно вязалось с ее платком, с цветом лица, даже с леденцами, даже с тем ароматом, что сопровождал ее повсюду. Тонкий, стойкий аромат. В хозяйкиной комнате на полу, на расстеленных газетах, сушились яблоки, и все вокруг пропитано яблочным духом. Стоп-стоп, значит, это было не там, не тогда. Должно быть, потом, в Омске, где были в эвакуации. И там снимали «комнату с хозяйкой», но та хозяйка была совсем другого рода, говорливая, румяная старушка. Имя первой хозяйки забыто навек, имя второй прикатилось, подпрыгивая, из незапамятной дали – Октябрина, баба Октя, окающий говорок, Омск, яблоки, все округлое, словно веселые красно-синие мячики. Баба Октя собирала в подол передника эти зеленые яблочки-паданцы и ела, деликатно держа за хвостики, макая в крупную серую соль. Девчонку постояльцев потчевала от души.

– А ты не брезговай, не брезговай, здоровее будешь! Вот я старая, а у меня, гляди-ко, какие зубки – а все с яблок да с солыцы... И ты попривыкни-ко...

Отказываться было неловко. Челюсти сводило, а потом она и правда попривыкла, и зеленые яблоки с солью стали казаться вкусными.

– Как можно! – ужасалась мама. – Люся! Ты ведь захвораешь от этих паданцев! Николай, прикажи своей дочери, меня она ни во что не ставит, все время убегает, прячется, исчезает куда-то... И так все кувырком, так еще чего не хватало, заболит вдруг живот накануне первого сентября!

А ведь до первого сентября оставался еще почти месяц, и чистенькие тетради уже лежали в красном ранце... Ох уж это вечное «живот заболит»! Мама уделяла слишком много внимания вопросам пищеварения дочери и, чуть что, микстур не жалела!

Но отец Люсе ничего приказать не мог и улыбался виновато. Он тоже пробовал так есть – яблоки с солью, и ему понравилось. Но и жене возразить он не мог, и только смотрел на нее снизу вверх. Снизу вверх, потому что был ниже ее ростом, а улыбался виновато потому, что ему всю жизнь было перед ней неловко, перед своей женой. Она ведь молодая, его Александра, моложе его почти на целую жизнь, и красивая, высокая, умеет наряжаться, чудесно поет, боже-ственно готовит, подарила ему дочку, солнышко ясное на склоне лет... Молодость свою ему отдала – как Ависага царю Давиду, такую бы холить, баловать, наряжать, с рук не спускать, а все как-то неладно складывается. Вот и война некстати. Так и жил, все время будто оправдываясь, находя успокоение только в работе...

Когда началась война, отец порывался уйти на фронт добровольцем – не хотел ли сбежать таким образом от постоянного чувства вины? Но его не взяли, конечно, и он вернулся. В сердцах швырнул вещмешок (раздобыл где-то, сам собирал, даже при этом насвистывал что-то лихое) в угол кабинета, закосолапил, затоптался по ковру.

– Не берут, – пожаловался вслух неизвестно кому. – Надо же, не берут. Сказали, заслуги. Сказали, меня надо беречь. Но я-то знаю. Это потому, что я – старый. И больной.

Люся хотела прыгнуть с дивана ему на спину, как любила делать, но мама ее удержала, ухватила за подол, тихонько вытолкнула из кабинета и прикрыла высокие двустворчатые двери. Стала говорить отцу что-то тихим, красивым своим голосом. Подслушивать было нехорошо, и Люся отошла в сторонку, не очень, впрочем, удаляясь. Сделала вид, будто ее очень интересует портрет, висящий на стене, тысячу раз виденный. На портрете была бабушка, папина мама, в наряде непостижимой красоты. Юбка совсем короткая, пышная, на гладко причесанной голове какие-то перья, ножки сложены крест-накрест, обуты в белые туфельки, обхвачены блестящими лентами. Вздыхнув, посмотрела на свои ноги – толстенькие култышки. Рубчатые чулки сбились под колени, круглая резинка жмет. У тупоносых башмачков перетерся ремешок.

– В конце концов, подумай о ребенке... – донеслось из кабинета.

«Ребенок» была она, Люся. Еще разок вздохнула, попыталась встать на цыпочки, как бабушка на другом портрете, что висит в кабинете отца. Немножко получилось. В кабинете мама засмеялась, сквозь слезы, но счастливо, победно. Значит, можно возвращаться, теперь, наверное, не побранят.

И в самом деле – мама схватила за плечи, затормошила, намочила слезами, защекотала пушистыми, выбившимися из высокой, валиком надо лбом, прически волосами.

– Уезжаем, Люсик, далеко, далеко...

– Куда?

– В эвакуацию.

Слово было непонятным и неприятным, как будто пищит и грозитя ужалить злое насекомое. Минуту же хорошего настроения следовало использовать с выгодой для себя.

– Мам, а ты мне купишь юбочку? Такую, как у бабушки на картине? И туфельки с лентами!

– Это не туфельки, а пуанты, – ответил Люсе отец. – Будущие школьницы такие не носят, а только балерины.

– Кто?

– Балерины. Те, кто танцует на сцене. – И отец смешно развел врозь руки, изображая знакомый, но такой нелепый в его исполнении жест. – А пачка – юбка так называется, поняла? – пачка у меня сохранилась. Как-нибудь я тебе покажу, если будешь послушной девочкой.

– Такого-то добра у нас сколько захочешь, – пробормотала мать, и Люся кивнула.

Это уж точно, сколько захочешь, да только не дают, даже и посмотреть! Вещи, оставшиеся от бабушки, висели в огромном шкафу, и туда никак нельзя было заглянуть. Дверцы скрипели так невыносимо, что на скрип обязательно кто-нибудь являлся – либо отец («Люсенька, детка, иди играть в детскую»), либо мать («Я же говорила тебе не лазить в эту пылицу!»), либо глупая, глухая нянька («Что за неслух девчонка! Такую беспрременно Яга заберет!»). А какой волшебный мир таился за скрипучими створками! Там все шелестело, шуршало, пахло неизвестными духами, переливалось блестками! Падали на паркет отсветы цвета павлиньего пера! И вот этот мир был для Люси заказан. Мама не любила упоминаний о бабушке, у нее сразу делалось такое выражение лица, словно она палец прищемила и боится заплакать. Впрочем, украшения из бабушкиной шкатулки она надевала без этого напряженного выражения. По поводу и без повода мать любила достать старинную шкатулку, сверху деревянную, изнутри розово-бархатную, вынимать ярко вспыхивавшие в ее пальцах сережки, браслетки, кольца, рассматривать их, примерять. Люся зачарованно наблюдала за мамой.

– Идет мне это колье? – спрашивала мама так, словно должна была немедленно решить для себя этот важный вопрос, и Люся кивала, затаив дыхание.

«Колье» было тонкой цепочкой с шестью молочно светящимися жемчужинами. Но Люсе в глубине ее простой души больше всего нравилась брошка. Такая большая, овальная, а посреди – букет фиалок из драгоценных камней.

– Какая безвкусица! – восклицала мама, когда брошка попадалась ей на глаза, но все же примеряла и ее, прикалывала к платью. Она оттягивала вырез, игла оставляла заметные бреши в шелке. Мать открепляла украшение, вздыхая об отсутствии вкуса, и у кого же? У бабушки ли, у неизвестного поклонника, презентовавшего ей это украшение, или у английского мастера Викторианской эпохи, ослепнувшего над тончайшей мозаикой – аметисты, зеленые бериллы, желтые топазы.

Шкатулку в эвакуацию не взяли. Мать бегала по квартире, звеня серебряными ложечками, перетрясая столы и сундуки, взвихривались облака нафталина. То и дело мать принималась плакать. Она панически боялась бомбежек, но еще больше боялась спускаться в бомбоубежище. Так же дело обстояло и с семейными ценностями – и с собой везти страшно, и оставить боязно. Вдруг в дом попадет бомба? Вдруг заберутся воры? Теперь и не вспомнить уже, оставались ли брошки и колье в ленинградской квартире или ездили в Омск. Наверное, все же оставались, иначе же пропали бы, променялись по дороге на молоко и картошку, на все то, что в лихие времена казалось человеку теплее жарко горящего золота, ценней сверкающих камней...

Ехали долго. В вагоне не топили, не зажигали ламп. Даже в окно было нельзя смотреть – ради тепла его завесили байковым одеялом. Только-только подберешься, приподнимешь уголок, успеешь увидеть только залитое дождем стекло, да скучных ворон на пашне, да голые ветлы, как мама уже тянет за плечо, велит отойти. А в купе еще скучнее, все закутанные, унылые. Одна женщина раскачивалась из стороны в сторону, пряди волос свисали вдоль отекавших щек, она не то стонала, не то мычала. От боли, что ли?

– Тетя, чего это вы? У вас зубки болят?

Мать схватила Люсю за руку, но утащить в их уголок не успела.

– Люсенька. Люся, разве ты не узнала? Это Лидия Константиновна, я работаю вместе с твоим папой. Я приходила к вам в гости весной, еще подарила тебе пупса!

Ах, вот оно что! Но позвольте, какая же это Лидия Константиновна? Та была красивая, в переливчато-зеленом платье, в ушах сережки, губы намазаны, волосы скручены в этакий крендель... И еще она все время улыбалась, должно быть, поэтому Люся ее не узнала. А пупс был розовый, как земляничное мыло, но его пришлось оставить в Ленинграде, как и мяч, и кубики, и юлу, как и кукольную посудку, и плюшевого медведя, который раньше ревел, а потом перестал. Большая кукла Зина тоже осталась, мама разрешила взять только старую Варьку, а у нее половина волос вылезла и глаза не закрываются! Что же, однако, случилось с Лидией Константиновной?

Но тут мама подросла, утянула за руку.

– А чего, уж и поговорить нельзя? Чего с ней такое?

– У нее сын ушел на фронт. Часть попала в окружение... Ты не поймешь.

Но Люся понимала. Украдкой посмотрела на мать – вдруг та тоже обернется старой, страшной ведьмой с опухшим лицом? Но нет, та была обыкновенная, только глаза у нее смотрели иначе и пухлый рот был сжат. Значит, горе у всех, значит, всем плохо.

– Если хочешь, иди погуляй, – предложила ей мать. – Может быть, найдешь себе друзей, поиграете во что-нибудь.

Но Люсе не нужны были ни друзья, ни игры. Она вышла в тамбур, где было холодно и накурено, но пусто, и стала смотреть в окно. Хорошо было бы выйти из поезда и побежать вон по тому лугу, заросшему огромными одуванчиками-колкодедами. Или заблудиться в насквозь прозрачном березнячке... А лучше всего было бы жить в маленьком домике, прилепившемся к самому полотну дороги. Во дворе там деловито расхаживает пегая коза...

Должно быть, Люся очень долго там стояла, потому что, когда она замерзла и вернулась в купе, мать плакала, а другие пассажиры наперебой утешали ее.

– Где ты была? Отвечай немедленно, где ты была? Я же весь поезд обежала! Я думала... Да я не знала уже, что и думать!

– В тамбуре... В тамбуре стояла, – прошептала Люся и рукой показала, в каком именно тамбуре.

– Не было там тебя! Я же двадцать раз там прошла!

– Была, – упрямилась Люся. – Я слышала, как двери хлопали. Ты меня просто не видела. Села в уголок, принялась для вида нянчить лысую Варьку, а сама думала о приятном.

Самым приятным было вспоминать, как давным-давно, когда она была еще маленькой, отец повел ее на детский утренник в театр Кирова. До сих пор туда Люсю только водили гулять – «к киятеру», как говорила глухая и глупая нянька.

Люся ждала, что будет скучища, как в кукольном театре, где всякие люди надевали на руки тряпочные игрушки и говорили за них ненатуральными голосами. Они думали, что никто не догадается, что все подумают, будто куклы сами ходят по ширме и говорят! Ха! Поэтому в театр Люсе не хотелось идти, она даже немного поупиралась и похныкала, пока мама вприхожей завязывала ей под подбородок ленту капора. Но делать нечего, пришлось идти. Оказалось – зря капризничала. В этом театре было куда интереснее. Во-первых, им не пришлось даже идти в кассу и стоять в очереди за билетами, чего Люся терпеть не могла. Только миновали скверик, как отца окликнул высокий старик с необыкновенными усами.

– Неужели Николенька? – вскрикнул старик. Они с отцом обнялись и расцеловались.

– Ну-ну, наконец-то пожаловали! А кто этот ангел? Неужели дочка?

– Дочка, Люся, – охотно подтвердил отец, вытолкнув застеснявшуюся Люсю вперед. – Вот, решил показать ей «Спящую красавицу».

– Самое время, самое время! Купюры сняли, симфоническая часть нынче у нас полностью звучит. Которые есть любители, те только на музыку ходят, невзирая даже на состав. Хотя

и состав нынче – сказка! Аврору – Наташенька Дудинская танцует, она у нас нынче Уланову обогнала, – похвастался старик.

– Неужели? А была, помнится, такая сухенькая, зажатая девочка...

– Ни-ни, ничего подобного! Развернулась, распустилась, словно роза! Одно слово – праздник танца! А фею Бриллиантов вместо Берг нынче Балабина танцует. Тоже очень хвалят за виртуозность, и в газетах даже... Получит удовольствие ваша девочка. Это надо же, Изольдочкина внучка! А похожа-то как на нее! Такая же хрупкая, словно бы и глазу неподвластна!

Он присел перед Люсей на корточки, и она почувствовала, что его усы пахнут духами.

– Ну, ты, верно, тоже хочешь стать балериной? Как бабушка?

И хотя Люся не очень хорошо понимала, о чем идет речь, она все равно закивала, и добрый старик рассмеялся.

– Идемте же, идемте, малышке надо еще показать театр до начала спектакля!

– Нам еще в кассу, Иван Тимофеевич...

– Еще чего удумали! Ни-ни, и не надейтесь! Чтобы сын Изольды Николаевны и внучка ее в наш театр по билетам проходили? Не будет такого! Этот же театр, Николенька, ваш дом родной, неужели надо кому-то платить, чтобы домой попасть?

– Случается и такое, – заметил отец.

– Случается, да только не у нас, вот вам мои слова!

И старик засмеялся.

Театр произвел на Люсю невероятное по силе впечатление – не считая, конечно, жесточайшего разочарования оттого, что Иван Тимофеевич оказался вовсе не самым главным театральным начальником, а вовсе принимал в гардеробе пальто у людей, пришедших смотреть спектакль. Но и это разочарование моментально прошло, потому что в ведении бравого старика, помимо чужих одежек, оказались еще и совершенно очаровательные крошечные перламутровые бинокли, и в них было на что посмотреть! В фойе висели фотографии бабушки, почти такие же, как дома, только в несколько раз больше, и на них она была в сто раз красивее. А потом начался спектакль, и вот это уже было настоящее волшебство. О, тут дело было даже не в музыке, хотя от знакомых звуков вальса в первом акте привычно вздрогнуло и закружилось сердце. Люсе нравились костюмы (средневековой Франции, как сообщил ей на ушко отец), нравились движущиеся декорации – растущий на глазах лес, чудесные панорамы, лодки, и исчезновение злой феи Карабос в люке, из которого валом валил пар, и взмывшие ввысь фонтаны в финале. А танцоры, которых она пока не знала по именам, творили на сцене недоступное простым смертным и все же обычное, повседневное, с детства знакомое и, если захочешь, – подвластное и тебе чудо...

– Николай, что с ней? Она заболела? Да что ж такое, девочка как пьяная! Люся, открой глазки, посмотри на маму! Ты водил ее в буфет, а? Пирожные покупали?

Но она и в самом деле чувствовала себя так же, как тогда, на отцовских именинах, когда на бегу отхлебнула из бокала жгучей коричневой жидкости – думала, что чай. Перед глазами все плыло, в голове шумело, вместо одной мамы она видела две, вместо зеркала в прихожей – анфиладу зеркал, целый зеркальный коридор, а в сверкающей глубине Люся видела себя самое. Но не в глупой плюшевой шубенке и капоре, а в пышной пачке, со сверкающей диадемой на голове!

Как хорошо все начиналось и как глупо закончилось! Люсе дали касторки...

С тех пор Люся твердо знала, кем хочет быть, когда вырастет. Конечно же балериной, как бабушка! Но мама совершенно не обрадовалась судьбоносному Люсиному решению и даже не захотела полюбоваться на то, как дочь хорошо умеет стоять на цыпочках.

– Глупости! Тебе еще рано думать об этом. Хорошая девочка должна слушаться маму, хорошо кушать и знать азбуку. Возьми пирожок и ступай в детскую.

Но и в детской Люсиная потрясенная душа не нашла покоя. Украдкой она наряжалась – старое кружевное покрывало присборивалось вокруг талии и скреплялось пояском, голова весьма эффектно перевязывалась куском белой ленты, и в одних носочках Люся, к ужасу няньки, прыгала перед зеркалом, пытаясь повторить те необыкновенные движения, тот полет, что видела она на сцене. Получалось мало хорошего. Только раз, один только раз... Как это было? Были тихие, сонные сумерки, за окном шуршал дождь. У Люси с утра болело горло и был жарок, поэтому гулять не водили, дали книжку с картинками и велели лежать в кровати. Мама то и дело заходила, приносила то апельсин, то чаю, но снова исчезала. Ждали доктора, и, чтобы занять себя чем-то, мама села за рояль. Она играла необыкновенно печальную мелодию, от нее тянуло под ложечкой и вздохи распирали грудь, и вдруг, ударив по клавишам, резко сменила мотив. Теперь это было что-то бешеное, в нем слышалась бесшабашная удаль и веселая злость, и сердце у Люси вдруг заколотилось сильнее. Неожиданно для себя, подхваченная тем же порывом, что заставил мать заиграть эту мелодию, она вскочила с постели и закружилась по комнате. Она не повторяла ничьих движений, не смотрелась в зеркало, не любовалась собой, и старое кружевное покрывало валялось, скомканное, за сундуком... Но неведомая сила вдруг подхватила ее, и несколько мгновений она была с музыкой – одним, музыка несла ее в своих горячих волнах. И также быстро, как началось, все и кончилось. Люся остановилась посреди комнаты, борясь с головокружением, щеки ее горели, сердце бешено стучало. Где-то в другой вселенной, в прихожей, брякнул дверной звонок, и тут же послышался густой бас. Пришла знакомая докторша, высокая, усагая, сама себя называвшая «бой-бабой». Она засучила рукава и тут же нашла у Люси ангину.

– Странное у вашей малышки сердце, – посетовала она матери, прижимая мясистое мужское ухо к худенькой Люсиной груди. – И дышит она... гм...

– Мам, а что ты сейчас играла? – спросила Люся, когда «бой-баба» ушла.

Мать собиралась в аптеку, раздраженно хмурилась, рассматривая оставленный доктором рецепт – сплошные крючки на тонкой бумажечке.

– Когда? А-а... Это чардаш. Венгерский народный танец. А ты не знала?

Разумеется, она не знала. В сущности, мать сама пыталась оградить ее от всего, что было связано со сценой, словно боялась для дочери какой-то участи. Но от судьбы не уйдешь – все вокруг, и фотографии бабушки, и звуки фортепиано, и даже сны – все обещало Люсе необыкновенную судьбу. А сны ей снились странные, с прекрасными дворцами, с необыкновенными нарядами, с полетами, так как ближе к пробуждению всегда оказывалось, что, если как следует оттолкнуться от пола ногой, можно взаправду взлететь.

До войны Люся успела посмотреть еще «Ромео и Джульетту» с Улановой, «Жизель» с Дудинской, «Раймонду», где в третьем акте, во время дворцового праздника, звучал так зачаровавший ее венгерский танец... На «Лауренсию» с ними пошла и мама. Но она откровенно скучала, то закрывала глаза, то принималась рассматривать рукав своего вечернего платья – синего, шитого серебристым бисером. Шепотом пожаловалась отцу, мол, ногастые девицы, скачущие на сцене, мешают ей слушать великолепную музыку, отвлекают. Отец только поморщился, но мама уже углядела кого-то в числе зрителей, задержала его за рукав:

– Нежели это она? Какое ужасное розовое! Скажите, прекрасная дама! Люся, ты посмотри!

Люся послушно посмотрела, знала уже, что от мамы так просто не отделаешься. И правда, женщина в необыкновенно розовом, пронзительно-розовом платье. Ничего особенного. Потом Люся не раз еще увидит ее в этом самом театре. Но первое впечатление сохранится в рудоносных залежах памяти, и потом, через много лет, Люся добудет его, чтобы рассказать своему самому близкому, единственному близкому и родному человеку.

– Она была некрасивая. И в юности-то не блистала красотой – скуластая, носатая, этакая кубышечка. А вот, поди ж ты, осиянная любовью многих поэтов, отразившаяся, как в льстивых

зеркала, в их стихах, осталась в памяти человеческой необыкновенной красавицей – Златокудрой, Российской Венерой, Лучезарной подругой... Все будут повторять:

Она сошла на землю не впервые,
Но вокруг нее толпятся в первый раз
Богатыри не те и витязи иные...
И странен блеск ее глубоких глаз.

И никто, понимаешь, никто не запомнит ее нелепо одетой, отекшей толстухой в очках, и даже я – я тогда сразу отвлеклась, стала смотреть, как Хасинта – Чикваидзе танцует с воинами, «покушающимися на ее честь», как было сказано в либретто. Я не могла еще понять, что это значит, но была потрясена накалом страстей. Хасинта металась, как затравленная зверушка, между четверки воинов, хватавших ее за руки, перебрасывающих вверх, вниз, друг другу на руки, причем был момент, когда двое поднимали ее вверх и с силой бросали с высоты и двое других ловили ее, в ту же секунду со звоном кидая на пол свое оружие... А фламенко во втором акте! А танец с кастаньетами! Казалось, праздник продлится вечно! Но началась война.

В эвакуации – слово-то какое, похоже на то, будто пищит, нудит, силится ужалить злое насекомое! – Люсе не понравилось. Все там было какое-то топорное, грубое, некрасивое. Все местные, в отличие от приезжих, говорили неправильно, речь их звучала странно для уха маленькой ленинградки. И музыка звучала некрасивая, все больше военные марши, патриотические песни, народные песни, их ритм был слишком прост, под него не билось сердце. Под звуки «Катюши», льющиеся из черного раструба, Люся выводила прописи. Она давно научилась читать и писать, но идея чистописания оказалась чужда ей, вредная учительница говорила, что после тетради Ковалевой руки приходится мыть с мылом. Мать сердилась за кляксы, бралась сама учить дочь, показывала, где нужно делать нажим, а где волосняной штрих, но быстро выходила из себя. Люся убегала в сад и сама с собой играла там в прятки. В саду вся земля была усеяна яблочками-паданцами размером с горошину и порхали чудесные птички, размером примерно с воробья, но только легче и изящнее. Птички не боялись Люсю, как будто и не видели ее. Одна села на ветку прямо перед Люсиным носом и, насмешливо глянув на нее, пропела коротенькую музыкальную фразу. В лучах закатного солнца кирпично-красная грудка пичужки вспыхнула огнем.

– Где же ты, малышка? – услышала она вдруг рядом голос отца и прыгнула ему навстречу, повисла у него на шее. – Сбежала от уроков? А я-то вез ей подарок из самой Москвы, думал, она примерная ученица...

Отца в последнее время часто вызывали в столицу, по делам, а дела эти были военной тайной, о них ни в коем случае нельзя было спрашивать, ни с кем о них не говорить! Люся только диву давалась – кому, зачем в Москве понадобился, да еще по делу государственной важности, ее тихий отец, ученый-орнитолог, академик, человек в высшей степени мирный? Только потом, разбирая отцовские бумаги, Люся узнает о проекте «Сизарь». Отец предлагал использовать специально обученных голубей для передачи разведанных через линию фронта, но в последний момент проект закрыли. Появилась новая альтернатива голубям, какая – никто толком не знал.

– Па-ап, кто это? Как называется эта птичка?

– Вот это да! Моя родная дочь, и не знает, что за птицы живут у нас в саду! Ну-ка, покажи мне свою новую подружку, только дай лицо ополосну.

Отец в этот раз выглядел особенно усталым, его круглое, доброе лицо было словно подернуто пыльной дымкой, но он все равно пошел за дочкой туда, куда она потянула его – к груде прошлогодних спиленных веток в дальнем уголке сада. Оттуда, как Люся и заметила еще раньше, и вылетали птицы.

– Постой-постой, не надо их пугать. Ну, кто тут у нас... Ах, горихвостки! Ну что ж ты, Люсенька, я ведь и брошюру про них писал до войны. Не помнишь? Ну да, это ты сейчас выросла большая, а тогда была несмышлениш. Эту птичку зовут горихвосткой. Почему? А разве ты не заметила, как она дергает хвостиком? От этого все ее перышки словно бы вспыхивают. А песенку она тебе уже спела? То-то же. О песенке горихвостки разговор особый. Постой-постой, как это там было...

Он прикрыл глаза и словно прочитал на память:

– Заняв подходящий участок, самец горихвостки обыкновенной начинает петь. Песенка его коротка и однообразна, но прелестна.

– Прелестна, – повторила Люся. – А ведь правда!

– Знаю, малышка. Знаю и горжусь своим определением. Это очень важно – найти для всего подходящие слова. Если не можешь сказать точно и хорошо, уж лучше вообще промолчи. Впрочем, многие вещи и явления просто-таки требуют того, чтобы о них молчали. Sapienti sat, ведь так, дочь моя?

– Папа, я...

– Прости. Я не о том. Тебе этого слушать не надо, не надо и мне говорить. Пожалуй, это один из таких случаев, ведь так? Sapienti sat!

– Сапиенти сат! – согласилась с ним Люся. Она наконец-то поняла – отец шутит. Невесело шутит, такое порой бывает со взрослыми, когда у них плохое настроение.

Они вместе вошли в дом, и там все стало еще хуже. Сначала влетело Люсе – зачем убежала от прописей, потом папе – зачем привез из Москвы шоколадных конфет, не чего-то там, гораздо менее вкусного, но нужного! Люся пыталась защитить отца, не вовремя влезла с репликой:

– Мамочка, как же ты не понимаешь! Это же конфеты! А...

Но тут же на собственном опыте убедилась в правоте отца – есть вещи, о которых лучше помалкивать.

– Не бузи ты сегодня, милая, – тихо попросил отец, стягивая с плеч пиджак, аккуратно вешая его на спинку стула. – Сегодня годовщина смерти мамы, а я, впервые за все эти годы, не смог побывать у нее на могиле. Даже не знаю, цела ли она, могила ее!

Люся вспомнила могилу бабушки, куда ее водил отец и в прошлом году, и в позапрошлом... Красивая могила. Веселая. Даже не похоже на могилу, а на воздушный, кружевной замок, в котором непременно должна жить сказочная принцесса. И на ней всегда свежие цветы, а кто их приносит – неизвестно. Что же могло случиться с ней? Ах да, война. На Ленинград падают бомбы. Странно думать, что они могут навредить не только живым, но и мертвым.

Эта мысль была такой неприятной, что у Люси немного закружилась голова и ей пришлось посидеть некоторое время зажмурившись, пока эта тошнотворная карусель не остановилась. Должно быть, поэтому она не расслышала слов матери. Та сказала, наверное, что-то очень громко, потому что в полупустой комнате еще звучало гулкое эхо. И это громкое было еще и злое, потому что губы у матери сжались и побелели, а отец сразу встал и вышел. Он не ответил матери ни слова и даже не взглянул на Люсю, из-за чего она поняла, что отец очень-очень сильно расстроен...

Она так и не рискнула пошевелиться, так и осталась сидеть на стуле. К ее спине ласково прижимался снятый отцом пиджак. Мать, словно не видя Люсю, ходила по комнате, потом ушла на кухню. Там она сначала заплакала, а потом заговорила с вышедшей на шум хозяйкой.

– Нельзя так, Шурочка, – загудела бабушка Октя. – Мужик-то, он что пчела, не на укус, а на сахарок летит. Смотри, времена лихие подошли, на их брата спрос большой будет, а ты такими словами... Даже мне, простой бабе, не по сердцу, а ему-то каково... Или обидел он тебя чем?

– Да они сколько лет надо мной измывались, – звенящим голосом вскрикнула мать. – С мамашей со своей, балериной чокнутой!

– Так, так, – кивала бабушка Октя. – Свекровка, значит, тебе лютая досталась. А быват. Моя тоже поначалу злыдня была, и села я не так, и пошла не эдак, как ни повернусь, все плохо. Потом ничего, попривыкли друг к дружке, только все серчала на меня, зачем мальчишки у меня не родятся. Что ты, говорит, за баба, ежели сына не родила. А ты своей чем не угодила?

– Да кабы я знала! Октябрина Ивановна, я ведь девчонка совсем была, когда пришла к Николаю на кафедру работать, пробирки мыть. Мечтала в консерваторию поступить, да не вышло. Происхождение подвело. У отца до революции аптека была, мать... Там своя история. Начал он за мной ухаживать, понравился. Ровесники все мне болванами по сравнению с ним казались. И не то чтобы я не знала, кто его мамаша, я, конечно, знала, так ведь...

– А чего она, мать-то его? Известная какая женщина?

– Балерина она! Изольда Ковалева, не слышали?

– По правде говоря, не слыхала. Вот певица такая есть, Ковалева, она в радио поет, заслушаешься! Так ведь это не та?

– Нет, не та. Она уже умерла. Но до того момента успела моей кровушки попить! Привел меня Николай. Квартира – шесть комнат! Обстановка, как в Эрмитаже!

– Богато, значит, жили.

– Она, Изольда эта, сидит, как принцесса, в шелковом халате, на каждом пальце по бриллианту, не иначе, ради меня нацепила. Кофе попивает, слова через губу цедит. Назвала меня «милочка», вы представляете?

– Чего ж, слово-то не ругательное, самое хорошее слово!

– Ах, да тут дело не в слове, а в интонациях! «Ми-илочка» – как будто я горничная! А у нас у самих, мама говорила, горничные раньше были, и повар, и в деревне...

– Сразу, значит, у вас не заладилось?

– Сразу. Николаю она сказала – встречайся с ней, делай что хочешь, но глаза мои ее чтобы не видели. Он мать огорчать не хотел. Больше домой меня не приглашал, по улицам водил. Я все стерпела. Любила его очень. У меня сидели. А мы с матерью вдвоем на восьми метрах, и соседи, как черти, злые. Ну, бывало, в кино она пойдет...

– Так, так. Дело молодое.

– Так и вышло у нас. Забеременела. Думала, теперь-то уж все, теперь-то женится, к себе меня заберет из сарая нашего. Готовить выучилась. Та-то, Изольда, кухонных запахов не выносила, прислуга у нее не держалась. Сама она вечно на диетах, а Николай по столовкам бегал. Думаете, помогло? Как же!

– Снова по-ейному, видать, вышло?

– В самую точку! Уж я не знаю, какой между ними состоялся разговор, а предполагать могу. Выплачивай, сказала она, ей алименты, или распишись с ней, или что хочешь делай, а только чтобы я ее не видела.

– Ишь, злыдня! И ребеночка не пожалела, кровиночку свою! Надо было тебе тотчас в суд идти, там бы им хвост поприжали!

– Не хотела я так, Октябрина Ивановна. По-человечески хотела. Николаем она всю жизнь вертела как хотела, веревки вить из него могла. Он во всем ее слушался и тут против ее воли не пошел. Однако и меня бросить не хотел. Расписались мы с ним, но жить я осталась у матери. Виделись на работе, а ночевать он домой шел. Люська родилась – еще тяжелее стало. В комнате повернуться негде, писк, чад, я никак не оправлюсь после родов, ребенок беспокойный, соседи совсем озверели, даже мать родная и та волком смотрит. Зачем, спрашивает, замуж за него шла? Я-то, говорит, думала, ты у меня в хоромах будешь жить, серебряными приборами кушать, как тебе и положено, а ты, дурочка, упустила свое счастье! Я, конечно, в слезы...

– Материнское сердце, известно... И как же ты, Шура, верх над ней взяла, над Изолидой-то своей? Тыфу ты, и имя-то змеиное, не выговоришь! Или разжалобилась она все же на внучонку?

– Как же! Последнее слово все же за ней осталось. Умерла она. Люсеньке уже третий год пошел. А перед смертью дозволила Николаю меня в дом привести. Так и сказала – разрешаю, но только ради внучки. Говорит: в меня девчонка пошла, моя, дескать, порода. Нарочно мне все отравила, гадина. Теперь, куда ни ступлю, все, выходит, с ее согласия. Куда ни посмотрю – это она мне всемилостивейше разрешила! И не ради меня разрешила-то! А Люсенька, как нарочно, вся в бабушку пошла, иногда посмотрю, как она повернется, как улыбнется, – вылитая Изольда! И в балет также рвется, вот порода-то что значит!

– И кипит, значит, сердце у тебя. Э-эх, голубка моя, настрадалась-то ты как, не гляди, что молода! Потому, значит, и спустила ты на него собак сегодня?

– Поэтому. Тут такие беды обрушились, то ли будем все живы, то ли нет, а он, видите ли, о могилке матушкиной заботится, ни о чем другом и думать не хочет, а я одна крутись! Словно она мне и из-за гроба вредит!

– Как бы то ни было, дочка, а ты терпеть должна. Такое твое дело женское. Со мной ты поделилась, за это тебе спасибо, а больше никому не говори, и пуще всего – ему. И на дочке злобу не срывай, ее вины тут нет, скорей твоя. Видно, много ты о своей свекровке думала, пока ребенка носила, вот и вышло такое сходство. Поняла меня? То-то. Ты меня слушай, я жизнь прожила!

Произвел ли на мать действие последний аргумент бабушки Октябрины или что-то другое, этого Люся не узнала. Но до конца жизни мать больше не упоминала о своей обиде. И с мужем стала помягче, и дочку шпыняла пореже. Хотя было ей на что ополчиться – в Омске Люся стала ходить во Дворец пионеров, где работала хореографическая студия...

Чтобы попасть в заднюю комнату, где проходили занятия, нужно было пройти через зрительный зал. Там было холодно и темно. Торопясь и подпрыгивая, Люся бежала вдоль рядов кресел, и невидимая рука щекотала ей сзади шею. Вбежав по ступеням на сцену, переводила дух. На сцене сушилась картошка, сильно пахло землей. А в небольшой комнате за сценой уже топились буржуйка и раздевались, торопясь, полдюжины таких же, как она, тощих, голенастых, покрытых мурашками девчонок.

Занятия вела томноокая дама неопределенных лет Ольга Александровна. Она всегда ходила в пыльной, черной, тяжелого сукна юбке и гимнастерке, поверх гимнастерки накидывала котиковый палантин, вытертый до глянца, в руках носила бисерную сумочку. Котик и бисер были, значит, из прошлой жизни, а сукно и гимнастерка – из нынешней.

Начинался урок всегда одинаково. Из сумочки появлялась аккуратно нарезанная газетная бумага и самосадная махорка в полотняном мешочке. Тонкими пальцами с выпуклыми, янтарно-желтыми ногтями Ольга Александровна сворачивала сигарку. Руки у нее тряслись, махорка сыпалась на пол. Управившись с самокруткой, Ольга прикуривала от буржуйки (темные волосы ее у лба всегда были подпалены), выпускала через ноздри струю дыма и смотрела на учениц так, словно впервые их видела. Блуждающий взгляд неизменно останавливался на Люсе.

– Ну как там у нас, а? – спрашивала она с мольбой в голосе, и Люся непременно должна была рассказать что-нибудь о Ленинграде, да что угодно! Чаще всего она говорила о театре, о гардеробщице и ценителе Иване Тимофеевиче, о тех балетах, что успела посмотреть и о которых только слышала... Потом Ольга Александровна рассказывала что-нибудь, причем ее истории начинались и заканчивались все одинаково:

– А вот у нас, на улице Зодчего Росси...¹ – вступала она, прикрывая тяжелыми веками глаза, приглушая их голодный блеск.

Напоследок же она неизменно рассказывала, как танцевала пажа в «Золушке».

– И твоя бабушка заметила меня, – следовал церемонный поклон в сторону Люси. – Она взяла меня за подбородок и сказала: «Какой прелестный мотылек!» В тот вечер она была Золушкой. Как она танцевала! Ее четырнадцать раз вызывали на «бис», ей преподнесли столько букетов, что она не могла их унести, и тогда я вызвалась помочь ей. Изольду Николаевну ждал автомобиль. Она села, взяла букеты, а мне дала одну чайную розу, едва распустившийся бутон... Я до сих пор храню ее лепестки... В Париже, на сцене Гранд-опера, когда я впервые танцевала Жизель, лепестки этой розы были у меня на груди...

Некоторое время молчали, прислушивались к тому, как в буржуйке потрескивают поленья. Было очень тихо, и странно было думать, что кроме холода, сырости и запаха картофельной прели на свете где-то есть Париж, огни ночных бульваров, чайные розы... Потом Ольга Александровна звонко хлопала в ладоши:

– А ну-ка, мамзели, за работу! За работу! Приступаем к экзерсису у станка! Grand plie по два раза на первую, вторую, третью, четвертую позицию, на четыре четверти каждое!

И урок шел своим чередом. Люся уже знала, что у нее получается хорошо, а что дурно. Успела наслушаться нотаций от своей учительницы, что, мол, «хорошая выворотность и легкость в прыжке – это еще не все, твои балетные данные достались тебе по наследству от бабушки, в том твоей заслуги нет, а нужно старательно работать, чтобы не опозорить ее память!»

Мама как-то зашла за Люсей в Дом пионеров и увидела Ольгу Александровну. Как и следовало ожидать, та ей не понравилась.

– Да это какой-то демобилизованный солдат, разве же это женщина? Разве это балерина? Курит махорку, дым через ноздри, как кабаньи клыки!

С тех пор она не называла Люсину учительницу иначе как «копченный нос». Увы, близорукая Александра никогда не умела распознать истинной стоимости – человека ли, брошки ли.

Полубезумная, волоокая Ольга Александровна! Как, оказывается, много сделала она для Люси в тот насыщенный военный год и сгинула в неизвестность, унеся с собой едкий запах сада, и еле слышный аромат герленовских «Митцуко», сохранившийся на котиковом палантине, и сухие лепестки чайной розы, когда-то подаренной ей Изольдой! Была ли она, эта роза? И была ли она сама, Ольга? А если была, то каким злым ветром забросило ее в провинциальный Омск? Она казалась не вполне реальной, ее иссохшая фигура все норовила расплыться в окружающем ее волшебном мареве, ее черные глаза смотрели порой так странно, словно смотрели в иную реальность. Часто сразу после урока она задремывала, прижавшись к теплому боку печурки, и, когда уходившие по домам девочки будили ее, прощаясь, она вздрагивала всем телом, с ужасом смотрела окрест... Но потом отходила от своего кошмара, облегченно улыбалась, кивала своим маленьким ученицам...

Позже Люся пыталась разыскать ее, узнать что-то о ней, но, на беду, не помнила фамилии, то ли не знала ее никогда... А те, кто, казалось, вспоминали ее, косились испуганно и шикали на Люсю, как на расшалившуюся девчонку. Очевидно, это было то, о чем нужно до срока молчать. Sapiienti sat!

В мае сорок четвертого года семья Ковалевых вернулась в Ленинград. Им повезло – квартира не только уцелела от бомбежек, но и мародеры пощадили ее. Из-под толстого слоя пыли заученно улыбались портреты Изольды. Теперь Люся смотрела на них с особенным соучастием. Едва перешагнув порог родного дома, едва успев поздороваться со своими старыми игрушками, проспавшими всю войну в сундучке, она побежала на улицу Зодчего Росси. Улица

¹ На улице Зодчего Росси находилось Ленинградское хореографическое училище.

оказалась похожей на огромный театральный зал, от желтых стен домов было светло, хотя денек выдался обычный для Ленинграда, пасмурный, моросил теплый дождик.

– В эвакуации они, милая, в Перми, скоро возвратятся, – охотно сообщил девочке бодрый старичок, очевидно сторож. На плечах у него, несмотря на теплую погоду, был накинут добротный полушубок с барашковым воротником, а на ногах сверкали новенькие калоши, и старичок то и дело на них поглядывал. – Вот-вот уже. Меня вперед послали: мол, езжай, Степаныч, проверь, что там и как, за порядком там присмотри... Обмундирование вот выдали, все новье...

В здании шел ремонт, просторный холл был уставлен ведрами с краской, валялись какие-то мешки, балки, прочий хлам. Большого Степаныч рассмотреть не дал, преградил проход тщедушной спиной и дверь за собой закрыл.

– Сказано тебе, потом приходи! – крикнул он. Очевидно, Степаныч чувствовал себя облеченным властью и намеревался как можно более от нее вкусить. Люсе забавный старик напомнил Ивана Тимофеевича, и она улыбнулась, подставив лицо теплым каплям дождя. Здорово было бы увидеть его снова – но, конечно, уже после того, как ее, Люсю, примут в училище! Если ее примут, конечно.

Разумеется, ее приняли, но Ивана Тимофеевича ей уже не суждено было увидеть. Он не пережил блокады. А Люся попала в класс легендарной Агриппины Вагановой, выпустившей в свое время Семенову, Вечеслову, Уланову, Дудинскую.

– Агриппина! Агриппина – зверь! – пугала Люсю соседка, девочка с непомерно длинными, как у жеребенка, ногами и руками. – Знаешь, она какая?

– Да ты-то откуда знаешь? – дернула плечом Люся.

– Вот знаю! Самый строгий педагог! Моя сестра у нее училась до войны, только вылетела. Она говорила, что у старухи Агриппины вечно всякие любимчики и что у нее бритв и иголок полон рот!

– Тем лучше, – пробормотала Люся. Еще девчонкой она умела полагаться на свое собственное впечатление. Агриппина Яковлевна не показалась ей «зверем». Не старуха, просто женщина. У нее были необыкновенно живые глаза.

Время показало, что правы были и Люся, и та девочка-«жеребенок». Ее, кстати, тоже приняли. У Агриппины был полон рот бритв и иголок, язвительные словечки и колкие замечания так и сыпались из него. Действительно, у нее были любимые ученицы, но им приходилось еще тяжелее, чем всем остальным. Ваганова не щадила тех, в ком разглядела талант. Впрочем, со всеми она вела себя по-разному. Рыжеволосую, хорошенькую Мариночку Колчанову, с которой Люся подружилась, например, нещадно донимала насмешками, от которых розовенькая Маришка бледнела перламутровыми пятнами и старалась, старалась, как только могла. Девочку-«жеребенка», боявшуюся ее больше всех, Агриппина только и исключительно ставила всем в пример за исполнение самых элементарных упражнений, хвалила по самым незначительным поводам, даже и тогда, когда хвалить было не за что...

– А вот посмотрели все, как у Надюши великолепно получается *demi plie*! В чем дело? Кто смеется? Это очень, очень важно! Полуприседание, к вашему непросвещенному сведению, развивает ахиллесово сухожилие, а нам без него никуда в классическом танце! Молодец, Надюша!

«Жеребенок» прикусывала губу и старалась, старалась, как только могла, – чтобы в другой раз Агриппина похвалила ее за что-то более существенное!

И только для Люси у Агриппины не было ни насмешек, ни похвал. С ней педагог обращалась по-деловому сухо. Впрочем, Люсю это обстоятельство вполне устраивало. Она ведь пришла сюда учиться танцу, так к чему сантименты, не так ли? Тем более что однажды она узнала истинную подоплеку такого отношения. Разгневавшись на одну ученицу – та посмела

сетовать на несправедливость Агриппины, надо же! – Ваганова заметила своим фирменным, убийственным тоном:

– Я? Я к вам несправедлива? Деточки, да вас надо гонять день и ночь, до кровавого пота, до полусмерти, потому что ни одна из вас не работает в полную силу! Ни одна – кроме, разумею я, Ковалевой! Вот ее-то не погонять, а удерживать нужно, видела я таких, как она, что прежде времени израбатываются!

Но кроме канонического освоения приемов хореографии, Агриппина требовала от учениц осмысленности. Она приучала девочек не просто четко копировать то или иное движение, но понимать его внутреннюю сущность и красоту, осознавать, как именно работают мышцы, выполняющие это движение, уяснять, почему один нюанс способен придать исполнению неизъяснимую прелесть, а другой – неуклюжесть и нелепость.

Ее наставления падали на благодатную почву – во всяком случае, что касалось Люси. Она танцевала со страстью, знакомой только пьяницам и игрокам, но не влюбленным. Страсть влюбленных преходяща и неверна. Люсиная душа принадлежала только балету. Весь окружающий ее мир, который недавно еще казался непостижимо огромным, сузился до одной сверкающей точки, до острия иглы, и устоять на этом острие можно было только *relevé*². А вокруг острия клубился плотный туман, и ничего в нем нельзя разглядеть, да и надо ли?

Это ощущение острия разрослось и, если так можно выразиться, обострилось после смерти отца.

Он умер быстро, ни дня не болея. Веселый, выходил как-то вечером из ванной в своем махровом, кирпично-буром халате, который Люся в детстве называла «медведёвым». Он так и не успел еще причесать редких светлых волос, они нимбом стояли вокруг обширной лысины, когда отец, охнув, схватился за грудь и мягко осел на сияющий паркет.

На похоронах Люся не плакала и только все косилась на рыдающую мать. Ту вел под руку ученик отца, красивый, с непристойно яркими губами, блондин. Звали его, кажется, Гриша. Он в последнее время часто бывал у них дома, даже и тогда, когда отца дома не было, пил с матерью чай, далеко отставляя мизинец с холеным ногтем. Мать в его присутствии обретала какой-то новый, захлебывающийся смех, и вот теперь ее рыдания в точности походили на этот смех. Смех и рыдания были не то чтобы лживы, в них таилась искуссительная полуправда, и Люся думала, что есть кто-то, кто знает всю правду, и он придет и принесет ее, но когда? Рано или поздно это произойдет, думала Люся, поднимая лицо к небу, по которому вперегонки неслись темные снеговые тучи. Ловила себя на этой мысли, удивлялась ей. Кто придет? Какую правду? И снова запрокидывала голову. И начинался снег.

Смерть отца сделала ее одержимой. Дома было нечем больше заниматься, не с кем говорить. Там, за овальным столом в гостиной, за столом, озаренным низко подвешенной люстрой, все чаще обнаруживался Гриша. Он пил чай из отцовской чашки – огромной чашки с незабудками, на выпуклом боку надпись золотом «С днем ангела!». Отец, бывало, пил непроглядный, деготно-черный чай, Гриша жеманно прихлебывал заправленную молоком бурду, сахара клал восемь кусков. Люся быстро пересекала гостиную. Ее никто не замечал.

В первом классе, после нескольких месяцев обучения, она в первый раз вышла на сцену Кировского театра – птичкой в свите феи Сирени. Во втором классе получила роль Белочки в «Морозко» и была снисходительно похвалена критиками. Потом была партия Куколки в «Щелкунчике».

– Чеканно! – сказала ей после спектакля Агриппина. Это была высшая похвала. – Я тебя раскусила, Ковалева. Ты должна быть всегда на виду! Без внимания ты зачахнешь!

² В танцевальной терминологии *relevé* имеет двойкий смысл: это и подъем на полупальцы или пальцы, и поднимание вытянутой ноги.

А в восьмом классе она уже танцевала в «Щелкунчике» Машу. Стояла за кулисами, поживаясь, какой-то знакомый холодок щекотал ей позвоночник. Вдруг краем глаза приметил какое-то движение... В темном углу шевельнулись две темные фигуры, полуобнявшись, склонив друг к другу голову, они смотрели на нее... Одна из них была похожа на Ольгу Александровну, вторая – Агриппина? Но она же умерла? Не успела удивиться, пора было выходить. Не выходить – вылетать. И она вылетела.

Кое-что, разумеется, не вышло. В конце второго акта не получился финальный вынос за кулису. Люся стала съезжать с рук партнера, он ее не донес, опустил на виду зрителей. Потом они отрабатывали эту поддержку, но Люся все не была в партнере уверена и обрадовалась, когда его заменили. Она даже имени его не запомнила. К этому моменту среди коллег у нее сложилась вполне определенная репутация. Гордечка, зазнайка, внучка своей великой бабушки! Люся не могла не слышать, что говорят о ней, но ей было все равно. Она по-прежнему дружила с Мариной Колчановой. Рыжеволосая Маришка звезд с неба не хватала. Она была приземистой, с тяжеловатыми ножками. По счастью, Маришка обладала своеобразной мягкой пластикой и выразительной мимикой. Чего Марина недотягивала в танце – то добирала эмоциями. Этого хватало для того, чтобы Марину пропускали на сцену, а уж показать товар лицом она умела. Впрочем, танцевала она слишком старательно для того, чтобы продвинуться дальше вторых ролей.

На выпускном экзамене Люся исполнила не тридцать два, а сорок восемь *fouetté*, и экзаменационная комиссия впервые в истории ЛХУ расщедрилась на пять с плюсом. Но своей экзаменационной оценкой Людмила Ковалева интересовалась мало, гораздо более обрадовало ее зачисление в труппу Кировского театра. Она пришла туда с готовой репутацией технически безупречной балерины, быть может, излишне сдержанной и малоэмоциональной. Критики называли Ковалеву «последней ученицей Вагановой» и замечали, что она вполне усвоила фирменный *aplomb* Агриппины – точную постановку спины и плеч и горделивую осанку. Но главным Люсиным козырем был, конечно, прыжок, ее феерический *grand jeté*, когда она зависала в воздухе, словно земное притяжение не имело над ней власти. А основной свой недостаток она видела отнюдь не в сдержанности, сдержанность была лишь изнанкой технического совершенства... Уже многие примечали, что Маша в ее толковании – не девушка, а ребенок; что никто еще не танцевал одиннадцатый вальс в «Шопениане» так по-детски непосредственно; что мир не видел еще Жизель такой юной и доверчивой... Говорили о новой, необыкновенной манере исполнения. На самом же деле все объяснялось гораздо проще. Многие тайны открылись Люсе за время обучения в училище, но одна осталась за семью печатями – тайна женственности. Пока ее товарки созревали, округлялись, пробуждались для любви, чувствовали в себе горячее биение крови, Люся оставалась все той же худенькой девочкой, прелестным андрогином. Сама она не тяготилась отсутствием у себя внешних признаков наступающей зрелости, напротив, считала это весьма удобным для себя – впрочем, ее устраивало все, что не мешало балету. Рядом с ней не было взрослого человека, женщины-друга, которая бы беспокоилась за нее. От матери Люся отделилась.

С того момента, как Гриша исчез из их дома так же стремительно, как и воцарился в нем, мать здорово сдала, постарела. Она перестала рядиться («не для кого мне!»), ходила по квартире в халате, в мягких шлепанцах. И все свое время отдавала излюбленному хобби – приготовлению кулинарных шедевров. С утра уходила на рынок и по магазинам, возвращалась к полудню с сумками, с корзинами, набитыми свежей, дорогой провизией. Мясо, рыба, яйца, зелень и овощи, южные фрукты, орехи, бутылочки с уксусом, гранатовым соком, сливками... В средствах маленькая семья не была стеснена – брошюры, книги и учебники отца продолжали переиздаваться, гонорары плюс пенсия плюс Люсенкино жалованье, да и много ли им надо, двоим-то? Люся никого в гости не водит, сама не ходит, одевается скромно, а у матери жизнь, считай, прожита... Одно у нее было горе, пробовать-то волшебные кушанья было некому! Топ-

чась над плитой, то размешивая соус сациви (ах, как жаль, что во всем Петербурге не раздобыть щепотки имбиря!), то колдуя над пастой из тресковой печени, мать время от времени начинала плакать, роняя слезы в еду. О ком она плакала? О муже или о любовнике? Или о вкусной еде, к которой никто не прикоснется? Сама-то она, пока стряпает, попробует так, что за столом пьет только нарзан, а дочь питается, как заяц, сырыми овощами и всему предпочитает яблоки. Как-то мать не выдержала, сорвалась:

– Да поешь ты хоть раз как следует! Нельзя же так, Люся! Ты ведь ноги протянешь! Да что же это, господи!

И совсем было собралась заплакать, нельзя было не заплакать. Дочь, бессердечная, отстраненная, сидела на краешке стула, выпрямившись по линеечке, аккуратно чистила яблоко. Она даже не прикоснулась к фирменному блюду матери, к волованам с ветчиной!

– Мам, а я сейчас, когда поднималась, видела близнецов Козыревых, – сказала вдруг Люся. – Представляешь, купили батон в булочной и прямо на лестнице разорвали его и съели. Я им говорю: «Мальчики, так вы домой ни крошки не донесете!» А они мне: «Мы и не собираемся!» Наверное, Инесса на занятиях, а Катерина опять улетела...

– Этакая легкомысленная, – покачала головой мать. – А отец был порядочный человек, талантливый художник, так красиво за мной ухаживал, вот и портрет нарисовал...

Люся мельком взглянула на портрет матери. Маленький холст совершенно терялся среди многочисленных фотографий Изольды. Художник очень подробно выписал складки на синем платье матери, нитка жемчуга на шее отливала выпуклым блеском, парный блик лежал на гладко причесанных волосах. Лицо матери, слегка приукрашенное, выражало одновременно доброту и непреклонность. Должно быть, это выражение «порядочный человек и талантливый художник» нечаянно привнес в образ своей модели, позаимствовав его у вождей мирового пролетариата. Именно на вождях художник Козырев сделал себе карьеру и под конец жизни так насобачился, что Ленина мог изобразить с закрытыми глазами, несмотря на антураж. Ильич в Смольном, Ильич в Разливе, Ленин в Октябре, Ленин в Горках, в кепке, без кепки... Именно с кепкой была связана великая история, история с большой буквы, история жизни Козырева! Якобы был он знаком с пожилой дамой, исполнявшей в Кремле должность кастелянши, и эта благородная старушка, подпив домодельной наливочки (был, был за ней такой грешок), подарила Козыреву старую кепку Ильича. Серую и ворсистую, неповторимую кепку, от которой буквально исходят флюиды гениальности! Вдохновленный сувениром, Козырев стал творить еще с большим подъемом и вскоре был удостоен многочисленных почестей и регалий, в том числе и ордена Ленина! Но в этот же период ему стало фатально не везти в жизни личной. Мадам Козырева сбежала от него, совершенно по канонам сентиментальных романов, на Кавказ, оставив ему двух несовершеннолетних дочерей. В довоенном детстве Люся немного дружила со своей ровесницей Инессой, девочки играли в обширной мастерской Козырева, с трепетом обходя стеклянную горку в парадном углу. Именно там, на полочке, застеленной кумачом, покоилась кепка Ильича, совсем как ее прежний хозяин – в стеклянном гробу в Мавзолее. Сейчас Люся не могла уже вспомнить, кто был зачинателем той шалости, когда девчонки, подзуживая друг друга, достали кепку из ее стеклянного плена и Люся, как самая грамотная, вслух прочитала жирно оттиснутое на подкладке: «МОСКВОШВЕЯ 1940 г.». Тут уж и дошкольницы сообразили, что головной убор не мог принадлежать вождю, а куплен был Козыревым во время командировки в Москву. Но зачем? Для чего такой обман? Малышкам хватило ума не распространяться о своем открытии, они сунули кепку на место и вновь принялись малевать цветными карандашами в альбоме, и вовремя – на лестнице уже раздавались легкие шаги хозяина мастерской.

На девочек Козырев возлагал особые надежды – и в самом деле, старшая, Екатерина, в самом нежном возрасте уже вполне отчетливо изображала в альбоме усы и строгий взгляд генералиссимуса. Но, увы, ни одна из девиц не пошла по стопам отца, напротив, обе удались

редкостными оторвами – в безвестно отсутствующую мать. Катенька и Инесса, чувствуя себя защищенными папочкиными лаврами, вели свободный образ жизни. Инесса то училась где-то, то вроде бы работала, любила рестораны и имела неприятности с милицией. Катерина тоже нигде не работала, да еще и родила без мужа двух разом шумных мальчишек, которым дала свою фамилию. Злые языки утверждали, что отцом близнецов был прославленный летчик, благородный, но, увы, женатый человек. То ли приключения Инессы, то ли внуки-сорвиголовы доконали Козырева, и остаток дней своих он отправился коротать в специальный закрытый санаторий для пресыщенных жизнью творческих работников. Только тогда девчонки очнулись. Екатерине повезло устроиться в гражданскую авиацию стюардессой (так косвенно подтвердилась версия об именитом летчике), Инесса тоже нашла какую-то непыльную работенку, да еще и пристроилась учиться в вечерний техникум. Совсем взяли за разум девицы, вот только близнецы по четвертому году остались без присмотра. В детский сад их сдавать боялись, и, увы, боялись не за мальчишек, а за детский сад. Безалаберная мамаша уносила в небеса, попрыгунья-тетка убегала на службу, потом в техникум, потом гулять с кавалерами, а близнецы целыми сутками были предоставлены сами себе, веселые и голодные, как дворовые щенки... Считалось, что за ними присматривает консьержка, но она, видать, боялась перетрудиться, да и где ей было уследить за шустрými, как ртуть, пацанами!

– А что, может, ты их к нам пообедать пригласишь? – Люся устала от намеков. – Жалко же мальчишек.

– Нет-нет! – всколыхнулась мать, окинув взглядом белоснежную скатерть, тонкий фарфор, столовое серебро и припомнив неумную энергию близнецов, их руки, покрытые цыпками, и жульнические мордахи под слоем грязи. – Зачем же к нам? Лучше уж я к ним сама схожу!

И в самом деле, шустро собралась, увязала в судки деликатесный обед и спустилась на этаж ниже. В обширном холле на полу сидели близнецы Витька и Вовка. Они играли в загадочную игру – швыряли в стенку монету с особым шикарным выворотом руки, потом о чем-то принимались горячо спорить, щеголяя бранью и стреляя по сторонам упругими вожжами слюны. Что и говорить, Витька и Вовка были не подарок.

Впрочем, они согласились вернуться в квартиру – ключ от апартаментов Козыревых висел у Витьки (или у Вовки?) на шнурочке на груди. В квартире близнецы не без нытья вымыли руки, что, правда, ненамного улучшило ситуацию. По мнению Александры, этих детей следовало трое суток в трех щелоках отмачивать, да и того было бы недостаточно. Но на первый раз, пожалуй, можно удовольствоваться малым. Налитый им в тарелки суп харчо близнецы выхлебали в мгновение ока, только ложки застучали по доньшкам, закусил пирожками с грибами. Потом настала очередь волованов, а также шарлотки с ванильным муссом и ароматного морса из кизилевых ягод. Все это мальчишки проглотили не жуя, как тарантулы, и тут же заснули, прижавшись друг к другу вихрастыми головами. Александра собрала посуду и решила, что отныне принцип ее готовки изменится. Ничего острого, тяжелого, а грибы, говорят, для детского стола вообще непригодны! Теперь она будет стряпать легкие блюда, полезные для детского пищеварения, – бульоны, каши, супы, овощные салаты. Кисель с молоком очень хорошо. Морс из кизила – просто отлично! А как они уписывали шарлотку! Шарлотку тоже можно, но изредка. Не надо их слишком уж баловать. На дочь, бывало, надышаться не могла, вот и вырастила на свою голову, никогда не поест по-человечески, одни яблоки грызет!

В Париже Люся танцевала отрывок из «Гаянэ» и яблоки были мелкие, но сладкие, а в Берлине – очень красивые и совсем невкусные. В Берлине она танцевала тоже в «Гаянэ» и еще в «Ромео и Джульетте». Ее принимали тепло. Время мерилось спектаклями, спектакли помнились по успехам либо провалам, по каким-то особенным событиям. Премьера «Каменного цветка» прошла с невероятным успехом. Люся танцевала Катерину, и после спектакля ее бывший соученик Леня Гридин, исполнявший роль Северьяна, поцеловал ее в шею. Поце-

луй вышел мокрый и неприятный. Люся поморщилась и вытерлась рукавом, Леня побледнел и больше с ней не заговаривал. На «Спартак» ломился весь город, но, увы, не из-за Ковалевой, которой на этот раз досталась весьма скромная роль, а из-за якобы эротических танцев в сцене пира у Красса! В балете Кара-Караева «Тропюю грома» Ковалевой досталась яркая характерная роль Фанни, и критики отмечали рост балерины как актрисы. А потом опять были гастроли, и в Будапеште Люся сломала зуб о ярко раскрашенное, но, к несчастью, совершенно несъедобное пластиковое яблоко. Зачем на свете существует такая дрянь? Целая ваза фальшивых этих плодов украшала ее гостиничный номер.

– Как ты ухитрилась? – пыталась Люсю Мариночка. – Их же даже спьяну нельзя принять за настоящие! Странная ты, Людмила, словно спишь наяву!

Люся вежливо вздыхала, улыбаясь плотно сомкнутыми губами. Идти к дантисту было некогда.

Да уж, в тех гастролях ей улыбаться не пришлось, да и нечему особенно было! От Будапешта до Праги тряслись в холодных автобусах, и половина труппы жестоко простудилась. У Люси текло из носа. Тряслась в ознобе и солистка, ее термометр зашкаливало, но она все равно станцевала Одетту-Одиллию и во втором акте поскользнулась – слабость дала о себе знать. В зале пронесся злорадный гул, кое-где повскакивали, защелкали затворы фотоаппаратов. Люся не поняла, что случилось, и только дивилась. После спектакля она пошла в магазин за яблоками, – и вот чудеса! – продавец, несмотря на близость русского и чешского языков, несмотря на выразительную жестикуляцию, которой балерина сопровождала свою просьбу, ничего не хотел ей продать и только отворачивался.

– Позвольте, я помогу вам, – услышала Люся за спиной знакомый голос. Это был дирижер их театра, невысокий мужчина с чеканным профилем. У него была репутация человека замкнутого. Он обратился к продавцу на немецком, и тот неохотно взвесил и упаковал в бумажный пакет десяток ярко-красных, удлиненных яблок.

– Спасибо... Почему он так?

– Чехи нас недолюбливают, Людмила Николаевна. Ну-с, возьмите меня под руку, я провожу вас. Вам сейчас надо бы прилечь, у вас, кажется, жар.

Рука у него была твердая. Он довел Люсю до дверей гостиницы и по дороге успел рассказать ей много интересного, даже один раз рассмешил, и на секунду туман, окутывавший ее плотным облаком, развеялся, стали выплывать черты лиц, вещей, явлений...

В номере Люся развернула пакет, достала одно яблоко, вымыла его и надкусила. Оно имело отчетливый ананасный привкус, и Люся вдруг тихонько засмеялась, захлебываясь душистым соком, чувствуя себя нестерпимо живой, настоящей, плотской...

Но дирижер больше не обращал на нее внимания, а потом Люсе показали его жену. Она была похожа на колибри – нарядная, смешливая, пухленькая женщина, рядом с которой балерина Ковалева почувствовала себя костлявой унылой дылдой. Огонек погас, не успев вспыхнуть, но у нее не было ни сил, ни времени на то, чтобы пожалеть об этом. Да и потом, разве она не чувствовала в глубине души, что рано или поздно тот, кому суждена ее жизнь, ее душа, придет и принесет с собой ключ от всех дверей, единственный ответ на все вопросы?

И снова – спектакли, гастроли, репетиции, травмы. В театре ее ценили, уважали, но вот любили ли? В интригах Люся не участвовала, сплетнями не интересовалась, на собраниях ухитрялась быть незаметной. Новому человеку Людмила Ковалева казалась скучноватой и надменной. Она плохо понимала шутку, сама не умела вовремя вставить словечко, ни с кем не заговаривала первой. Родство с легендарной балериной бросало на нее какой-то высший отсвет, и трудно было различить собственное ее лицо. Но те, кто был знаком с ней хотя бы несколько лет, знали, что Люся бескорыстно и ненавязчиво добра, может раздать все, что у нее есть. Из гастрольной поездки в Египет она привезла шитые золотом шарфы, много, дюжину, – они были сказочно дешевы. Другие тоже так делали и тихонько сплавляли барахлишко знако-

мым, знакомым знакомых уже по другой цене. Жить-то всем надо! Люся же свои раздарила, оговариваясь: мол, зачем мне так много? Хватит с меня и одного! Но и последний отдала, сняв с узких плеч – у новенькой гримерши случился день рождения, а у нее в Ленинграде ни родных, ни друзей, никто и не поздравил, вот она и плакала в узком коридорчике...

К ней, к Люсе, шли со своими бедами и радостями молоденькие девочки «от воды», из глухого кордебалета. Все они, как одна, обожали балет, все стремились к лучшей жизни, все мечтали о красивой любви либо о выгодном замужестве. Некоторые не чурались древнейшей профессии, у некоторых шкала жизненных ценностей начиналась с икры и шампанского, ими же и ограничивалась. Странного рода душевная близорукость не позволяла Люсе увидеть сокровенную суть этих глупышек. А если бы представить себе эту суть, она могла бы оказаться пустой комнатой в заброшенном доме. По углам кучи грязного тряпья, на разбитом паркетном полу набросаны объедки и всякая пакость, а сквозь немытые стекла падает пыльный солнечный луч и озаряет то, что стоит посреди комнаты на обшарпанном табурете, – сверкающие снежной чистотой балетные туфельки...

Люся жалела этих девочек, выслушивала их сетования, давала советы и давала денег в долг – как правило, без отдачи.

– Что у тебя общего с этой, как ее... Савкиной? – допытывалась у нее Марина. Больше всего в эту минуту Маришка напоминала домашнюю беленькую кошечку, что вышла погулять после дождя и пробирается между грязных луж, морща носик и потрахиывая лапками.

– Да ничего. Так просто, болтаем по-девичьи. Советуемся.

– Она же, ты знаешь...

Склонившись к ушку подруги, Маришка шептала солёные подробности.

– Если и так, то что же? Это ее личное дело, – снисходительно отмахивалась Люся.

– Ну, не знаю...

Маришка, очевидно, считала себя зеркалом добродетели. Она дважды была замужем, дважды развелась, а теперь водила дружбу с каким-то начальником. Начальника она звала по фамилии – Иванов. Иванов, бывало, подкатывал к театру на черной «Волге», но сам встречать пассию не выходил, посылал шофера Жорика. Шофер был молодой, смуглый и белозубый парень. Он вручал Мариночке дежурный букет и вел под ручку к автомобилю, а она прижималась к нему горячим боком и вздыхала с намеком.

– И что ты можешь ей посоветовать? На ней пробы ставить негде, а ты старая дева!

Люся не обижалась.

– Ты знаешь мои взгляды. Затевать любовную связь, если нет главной составляющей, нет собственно любви... Я не говорю – безнравственно, нет. Но – очень хлопотно и утомительно. Мне вполне хватает упражнений у станка.

– Эх, Людмила, не знаешь ты, что теряешь, – сладко мурлыкала Мариночка. Она встряхивала волосами, бледнела запрокинутым лицом, губы ее становились ярче, глаза мутнели. Вспоминала ли она о хозяйских объятиях Иванова, воображала ли себя рядом со смуглым Жориком? Люся насмешливо наблюдала за преображением подруги.

– Ряд волшебных изменений милого лица, – язвительно комментировала она. – Не знаю, следовательно, жалеть ни о чем не могу. И знаешь, оставим этот разговор. Несмотря на пробелы в моем образовании, я все же могу разобраться в простых житейских ситуациях...

Не только в простых, но и в тех, что только выглядят простыми. В театре работала массажистка Раиса. У нее были умные, сильные руки, волосы цвета сливочного масла и зеленые глаза, прекрасные глаза с золотистыми искорками, которые обладали способностью словно испускать лучи света, но сами, увы, света давно не видели. Раиса ослепла в двенадцать лет. Но она не чувствовала себя несчастной, у нее были любящая мама, прибыльная профессия и жизнь среди музыки, которую она обожала. Но как-то Люся заметила, что Раиса не по обыкновению рассеянна и, как нарочно, задержалась после спектакля. Массажистка недолго запырлась и

вскоре выдала свою страшную тайну. Оказывается, на ее сильную руку и не менее сильное сердце было два претендента. С первым Рая познакомилась в обществе слепых, он тоже слепой, вернее, даже слепорожденный. Звать Оскар. Руководит артелью слепых, человек серьезный, корректный, состоятельный. Все взвесил и сделал Раисе предложение. Строит для них кооператив и вот, подарил Рае пуховый платок, какие вяжут в их артели. А второй – Ваня, он моложе Раисы, только-только демобилизовался. Познакомились в автобусе. Ваня подсел, заговорил и, кажется, ничуть не испугался, когда она, готовясь выходить, нащупала рядом с сиденьем свою тросточку. Он полюбил Раечку, стал ухаживать за ней и очень хочет на ней жениться! Но у Ванечки нет своей жилплощади, нет образования, он работает токарем на заводе и к тому же не нравится Раечкиной маме.

Маму Раисы Люся знала. Она преподавала у них в училище английский язык. В языках Людмила Ковалева не была сильна и до сих пор своего бывшего преподавателя побаивалась. Так вот, Раечкина мама считает, что Ваня не подходит ее дочери, он совсем простой парень, к тому же он-то зрячий и вскоре ему, такому молодому, надоест возиться со слепой супругой...

– Поживете пару лет, и найдет он себе помоложе, да к тому же и зрячую! – таков был сокрушительный материнский аргумент против Ванечки. – А я уж не та, все прихварываю... Помру вот, как ты одна-то останешься? Не ровён час, еще и с ребенком? А за Оскаром Андреевичем ты как за каменной стеной век проживешь, он, кроме тебя, и знать никого не захочет... Ты не такая, как все, тебе сломя голову нельзя, у тебя расчет должен быть!

Выслушав историю массажистки, Люся содрогнулась. Ей ужасна была сама мысль о том, что можно родиться слепым, никогда не увидеть неба, солнца, птиц... Но быть может, и правда, чего не знаешь, о том не жалеешь? В конце концов, она сама – так ли часто смотрит в небо? Быть может, не так уж и плохо ощущать небо – как зачарованную бездну над головой, солнце – как нежную ласку тепла на лице, а птицу – как ее песенку, короткую и прелестную? Можно ли жить без зрения? Да. А без любви?

– Раечка, ну а вы-то сами? Вы сами – кого из них любите?

Всегда такая сдержанная массажистка зашмыгала носом и созналась, что любит Ванечку. Он веселый и добрый. И Раиса уверена, что он никогда ее не бросит!

– А и бросит потом, так что же? Хоть буду знать, что и в моей жизни была любовь, недолго, но была, хоть капелька-а! И пусть ребенок! Сама подниму, я все умею, со всем сама справляюсь!

– Раечка, прекратите реветь, вы же заболаете! Зачем так себя настраивать? Что значит «сама подниму», если вы уверены, что Ваня вас не бросит?

– Ни за что не бросит! А это я так, потому что мама говорит...

– Я думаю, что замуж все-таки вам выходить. И с мужем жить – вам, а не маме. При всем моем к ней уважении... А для ее спокойствия скажите ей, что при ваших исключительных внешних данных вы всегда сможете выйти замуж по расчету, а пока есть любовь – нужно выходить по любви!

А через пару месяцев Люся была свидетелем на свадьбе Раисы. И невеста тонула в облаке длинной фаты. И жених, совершенно обалдевший от счастья, кидался целовать то ее, то свидетельницу. И новоиспеченная теща, поздравив молодых, от души обняла Люсю, так что у той косточки хрустнули. Потом, уже во время застолья, шепнула ей, уведя в уголок:

– Спасибо вам, Людмилочка. Мне ведь Раиса все рассказала. Я сначала расстроилась, не хотелось Оскара обижать. Такой уж он галантный, большое впечатление на меня произвел. Дай, думаю, сама к нему схожу, поговорю, извинюсь. Пошла в их артель. А его там нет, сидит девушка, что-то типа секретарши. Разговорилась я с ней, то да се, как работается. Начальник, говорю, у вас такой обходительный. А она хихикает. Да, говорит, он уж тут всех работников обошел, вот какой обходительный. Иные девки от него горячими слезами плачут, иные ничего против не имеют. Одна-то вон седьмой месяц дохаживает, а он все не уймется никак. Да еще,

говорит, жениться собирается, вот кобелина-то ненасытный! Тут я и ахнула! Так что поклон вам низкий, кабы не вы, так и не знаю, что было бы!

Люся, смущаясь, кланялась в ответ. Ей было жарко в кримпленовом брючном костюме, новые туфли натирали ногу. На столе угощение – все жирное, жареное, обильно сдобренное майонезом. Друзья жениха наперебой звали танцевать, а ей вспоминался пошлый анекдот: «Выходишь ты на пляж, а там станки, станки...» Ей было до странности горько смотреть на Раечку. У той глаза сияли так, что больно было смотреть. Короткое и узкое, по моде сшитое платье обтягивало ее фигурку так, что замечен был округлившийся живот. И внезапно Люся впервые в жизни ощутила некое томление. Ей вспомнился рассказ, читанный недавно. Там было про кухарку, которая каждую весну начинала тосковать, садилась у окна и вздыхала: «Родонуть бы мне!» Вскоре она уже ходила с животом, к зиме опрастывалась, отправляла ребенка в деревню, а в апреле начиналось снова: «Родонуть бы мне!» Бунина, кажется, рассказ.

Так она смеялась про себя – над собой же, над своим томлением, от которого ныли суставы и сладко кружилась голова. Томление можно было забыть, отвлечься на выматывающие репетиции, на ежедневные занятия, заглушить звучными французскими словами, звучащими как приказы, – но у Люси была такая же неумная, как у Раечки-массажистки, мама. Близнецы Козыревы, к несчастью, как-то быстро выросли, исправно служат в армии, пишут Александре Гавриловне письма. Звали даже на присягу: «Вы нам как родная, вы нам как мать, как бабушка!» Родная-то мать, когда им было по десять лет, выскочила-таки замуж за летчика, нарожала новых детишек. До воспитания уже готовеньких мальчишек у нее руки так и не дошли. Теперь они служат на границе, а мать то тиранит Люсю, то плачет:

– О-хо-хо, жизнь моя! Ты замуж не выходишь – это твое дело, но я-то как же? Неужели не придется и внучат посмотреть!

То кричит, если Люся, на ее взгляд, слишком задержалась после спектакля:

– Где ты шляешься? Уж не в подоле ли собралась принести? Родишь без мужа, я нянаться не буду!

Вот и пойми ее.

Уже отчетливо было ясно, что Люся не станет звездой первой величины, мировой балетной феей, как Лепешинская или Уланова, не угонится за Плисецкой. Вот странно – первые партии она танцевала, критики ее хвалили, но своего зрителя у нее словно бы не было, большой народной любовью она не пользовалась, где же тут загвоздка-то?

И дожила бы она свой век с прохладным сердцем, с близорукой душой, но однажды ее включили в состав труппы для гастролей в Иране. Ковалеву вообще охотно брали в гастрольные поездки. Непривередливая, стойкая, конфликтов не любит, скандалов не затевает. Вот в Англию она не поехала, и чем дело кончилось? Репетитор труппы балерин Трубникова очень просила Люсю:

– Людмила, будьте добренька, уступите свое место Дашеньке.

– Пожалуйста, – пожала плечами Люся.

Ей было все равно – ехать не ехать. К тому же не хотелось противоречить репетитору – та покровительствовала своим ученицам, продвигала только их, но Люся в их число не входила. Но Трубникова не удовольствовалась кратким ответом Ковалевой, пустилась в объяснения:

– Вы же видите, тут ей совершенно негде развернуться. Для дарования такого масштаба танцевать попеременно «Лебединое» и «Жизель» – это просто гибель. Из года в год одно и то же. Ведь ей почти тридцать. Мы-то с вами, Людмилочка, знаем, как это важно – вовремя поддержать талант.

– Да, да, – мямлила Люся.

Разговор принимал неприятный оборот. Выходило так, что она, Люся, должна уступить свое место в поездке молодой исполнительнице. Не зажимать, так сказать, юное дарование. Интересно, а о ней кто позаботится? Она тоже – из года в год «Лебединое» и «Жизель», а ведь

ей уже не «почти тридцать», а скоро «почти сорок», возраст для балерины преклонный. Шейный остеохондроз, изуродованные стопы, позвоночник. Что дальше? На секунду Люсе показалось, что жизнь обманула ее, поманила блесками и перьями, ослепила огнями, оглушила волшебной музыкой и... сбросила, искалеченную, в оркестровую яму. Какая подлость, так портить человеку настроение!

– Чего ж вам еще? Я согласилась, – стараясь, чтобы в голосе не звучали слезы, сказала Люся.

А через неделю, придя на репетицию, услышала потрясающую новость. Новость уже знали даже театральные уборщицы, но до Люси всегда все доходило в последнюю очередь.

– Теперь, значит, меня больше не выпустят, – пожаловался Люсе партнер, словно продолжая какой-то ранее начатый разговор.

– Отчего? – для вида удивилась она. – Ты что же, Димочка, нашлопутил где-нибудь?

Димочка с недавних пор был постоянным Люсиным партнером. Он перевелся в Кировский театр из Риги. При блестящих балетных данных в танцах он не блистал, но хорошо держался на сцене и был надежен в поддержках. О его победах на любовном фронте ходили легенды – впрочем, с Люсей он обращался запанибрата, а она не упускала случая над ним подшутить.

– Нет, не то. С тех пор, как Дарья соскочила...

– Что сделала? – не поняла Люся.

– Господи, ты как вчера родилась! Соскочила, ну, осталась за границей, понимаешь?

– Разве так можно?

– Да ты что – не знаешь ничего?

– Н-нет.

– Исчезла прямо из гостиницы. Даже не подумала о том, как она всех нас подводит. Теперь директора – вон, руководителя труппы – в шею. Трубникову уже попросили на выход. И нам достанется. Говорят, холостых, бездетных, бессемейных не будут выпускать. У тебя с семьей как?

– У меня мама.

– Мама по нынешним временам маловато. Но ты не волнуйся. Тебя-то выпустят, ты благонадежная.

Выпустили их обоих.

В театре закончился ремонт. Он длился полтора года, репертуар был сильно сокращен, спектакли шли во Дворце культуры Горького и Дворце культуры Ленсовета, где работать было сложно, – в общем, натерпелись. Но было бы из-за чего терпеть! О да, балет получил четыре новых репетиционных зала, с раздевалками и душевыми. Но в бочке меда была ложка дегтя. Полы в новых залах оказались лишены амортизации. На первой же репетиции, сделав свой коронный *grand jeté* и приземлившись, Люся ощутила весьма болезненный толчок в большой позвоночник. Скоро в новых залах никто не хотел репетировать. Полы пообещали перестелить. Сцена явно требовала доработки – люки были перенесены с привычных мест, лежали неровно, кое-где пол ненадежно прогибался, покрытие «гуляло» под ногами. Режиссеры и дирижеры тоже были чем-то недовольны... Так что поездка пришлось как нельзя более кстати.

К тому же и гастроли ожидалась не совсем обычные – не так давно шахиня Ирана навестила город на Неве, видела «Щелкунчика» и пришла в восторг.

– В Иране любят зрелища. У нас есть театр при Тегеранском университете и частные театры, а недавно открыли музыкальный театр имени Рудаки и создали симфонический оркестр, – с детской гордостью сообщила шахиня. Она говорила по-русски. Ее звали Фара

Дибя, и она была армянка из Нахичевани, коронованная шахбану³ Ирана. – Театр самый современный, а вот труппы, балетная и оперная, еще не набрали силу.

– У нас тут все наоборот, – ехидно заметил кто-то.

Теперь шахиня возжелала показать русский балет у себя дома и для этих целей представила свой личный самолет. Он-то и должен был отвезти труппу в Тегеран и обратно.

– Иметь свой самолет! Это потрясающе! – крутил головой Димочка, которого все-таки выпустили. Не без Люсиного вмешательства, нужно заметить. – Ковалева, можешь себе представить! Собственный самолет! А я даже на «запорожец» накопить не могу!

– Наверное, у шаха деньги крепче в кармане держатся, – поддела его Люся.

– Просто у него их больше. А что, Ковалева, ты шахиню видела? Красивая она?

– Размечтался...

Внутри самолет был похож на шкатулку для драгоценностей – розовый бархат и позолота.

– График, товарищи, у нас напряженный – за три дня четыре спектакля, два «Лебединых», две «Жизели». Завтра «Жизель» начинается в три пополудни, заканчивается в пять, потом небольшой парадный обед прямо в помещении театра, потом отдых, и в семь часов «Лебединое озеро», – суеился руководитель труппы. – На обеде, возможно, будет присутствовать шах, так что смотрите вы у меня!

Выражение лица у него было самое драматическое. Возможно, шах представлялся ему непременно в парчовом халате, с окладистой черной бородой, а на поясе чтобы ятаган? Но Мохаммед Реза Пахлеви, его императорское величество шаханшах Арьяхмер оказался похож не на жестокого владыку из «Тысячи и одной ночи», а на доброго университетского профессора. Шахиня рядом с ним была как старшеклассница в своем коричневом шерстяном платье. Скромное платье от Валентино...

Виллисы из кордебалета держались стайкой и всю пилились на шаха.

– Держите меня, у него ботинки из крокодиловой кожи!

– Откуда ты знаешь? Ты и крокодила-то видела только в передаче «В мире животных»!

– Ой, да поди ты! Вот спроси хоть у Людмилы Николаевны!

Но Люся не была настроена болтать. Она устала. В заграничных турне ее прежде всего утомляла иностранная речь вокруг – катастрофически неспособная к языкам, она усваивала только самый необходимый словарный запас, всегда возила с собой разговорники и старалась свести общение к минимуму. Она и на этот раз надеялась тихонько улизнуть в гостиницу и лечь спать, отдохнуть перед вечерним спектаклем, но оказалось – нельзя. Она – личный гость шаха и шахини. Знакомство прошло удачно, только Димочка проштрафился, поцеловав шахине руку, чего делать, разумеется, не следовало. Затем Люся церемонно поклонилась царствующей паре, выслушала свою дозу комплиментов. Так, «бьютифул» – это понятно, «вандерфул» – тоже ясно, «экстаси» – почти по-русски. Потом шах спросил что-то, и Люся разобрала – интересуется, как ей понравился театр. Но для ответа ей слов не хватало, оперировать теми же «бьютифул», «вандерфул» и «экстаси» казалось неудобным и, побарахтавшись некоторое время (о, как она «плавала» в свое время у доски, с каким укором смотрела на нее Раечкина мама!), она прибегла к помощи сопровождающего.

У Люси, как и у многих женщин, а у балерин в особенности, было хорошо развито боковое и даже «заднее» зрение. Мужчины, как правило, видят только то, что у них перед носом, женщины же – краем глаза, окомом, обочинкой... А если что-то интересное происходит у них за спиной, то видят и спиной тоже, персиковым пушком на загривке, чувствительными хрящиками позвонков и даже застежкой лифчика. Вот и Люсе показалось, будто перышко щеко-чет ей шею, так бывает, если на тебя пристально смотрят, покосилась раз, два, и вдруг у нее занялось дыхание.

³ Шахбану – императрица.

Он был очень высок, Люсе показалось – вдвое выше обычного, среднестатистического человека. И он был очень худ, один костяк. Пиджак висел, как на вешалке, на широких плечах, ворот рубашки был широк, шея в нем казалась трогательно тонкой. А лицо – очень некрасивое, очень мужское. Раздвоенный подбородок, нос с горбинкой, длинный, нависающий над верхней губой... И золотые, медовые, раскаленные глаза. Как у тигра. Левый отчетливо косит к виску.

«Какой странный! – подумала Люся. – Даже на человека не похож. Словно с другой планеты. Надо отвернуться, неприлично так глазеть. Но я не могу, не могу отвести от него глаз. Что за черт!»

– Не чертыхайся, – шепотом заметил стоящий рядом Димочка. – Тут религиозная страна. Неужели Люся сказала это вслух?

– Посмотри, как этот тип на тебя уставился. Голову влево поверни!

Пришлось повернуться и посмотреть.

И тогда «инопланетянин», поймав ее взгляд, поклонился и улыбнулся. Это была не холодная официальная улыбка, в ней была ласка, и печаль, и тонкая ирония. Над чем? Над своей некрасивостью, особенно заметной перед красотой русской балерины? Но он уже не выглядел некрасивым – только своеобразным, необычайным, необыкновенным. Люся улыбнулась в ответ.

И в ту же секунду что-то изменилось в мире – света прибавилось, что ли? Люсе даже показалось, что она исправила какое-то навек заученное, затверженное каждой мышцей ее тела движение и двигаться стало легче, дышать стало легче. Будто бы танец и жизнь наконец-то соединились, будто бы она смогла победить земное притяжение не только на сцене... Он сделал один только шаг и уже стоял рядом с ней, а ведь только что был в дверях. Она ждала – он заговорит. Но он склонился к сопровождающему.

– Людмила Николаевна, позвольте вам представить господина Шапура Бахтияра.

Теперь формальности были соблюдены. Они не пожали друг другу руки, но Люся ощутила, что его длинные, смуглые ладони-ладьи словно прикоснулись к самому ее сердцу, заключили его, неотогретое, в теплый плен.

За обедом их посадили рядом. Обед был изысканный, но Люся ничего не запомнила, только шербет – густой, словно янтарный сок, в котором плавали кусочки льда и ломтики незнакомых фруктов. И запомнила только потому, что Шапур Бахтияр сам, опередив официанта, наполнил из хрустального кувшина ее бокал, на мгновение прикоснувшись своей рукой к ее руке. Прикосновение было как ожог. И оно не прошло незамеченным для окружающих.

В автобусе к Димочке подступил сопровождающий:

– Безобразие! Какая самонадеянность! Вам, может быть, неизвестно, что в Иране, как и в Европе, не принято целовать руки царствующей особе?

– Надо было предупреждать заранее! Откуда мне знать такие тонкости иноземного этикета? Могли бы, пока вели нас в фойе, провести кратенький инструктаж!

– Да откуда мне было знать, что вы полезете с кувшинным рылом в калашный ряд?

– С мякинным, – вмешалась Люся.

Она и предположить не могла, что ей в этой перебранке тоже кое-что причитается, поэтому и влезла со своим неуместным замечанием.

– Что?

– С мякинным рылом. Кувшинное рыло – это безобразное, вытянутое вперед лицо. Поговорка звучит так: «Куда ты с мякинным рылом в калашный ряд». На самом деле тут мякинное рыло и не лицо вовсе.

– Чего?

– Говорю, имеется в виду не лицо, а совок. Которым рыли мякину. Рыло, понимаете? В калашном ряду, где торговали, понятно, калачами, совок для мякины был без надобности.

– Откуда ты всего этого нахваталась? – разинул рот Димочка.

Но сопровождающий не оценил Люсиных познаний.

– А вам, Ковалева, я должен сказать... – Он закатил чудовищную паузу, очевидно чтобы Люся успела как следует испугаться. Но та за собой никакой вины не чувствовала, поэтому продолжала смотреть безмятежно. – Будьте осторожны! – закончил сопровождающий. За время паузы он сам успел сообразить, что балерина Ковалева, каким бы возмутительным ни казалось ее поведение, в преступлении против морали или этикета пока не замечена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.